

Вопросы к докладчику и ответы

Вопрос (А.И. Неклесса):

Михаил Витальевич начал рассуждение с оговорки, что темой его рассуждения будет по преимуществу политическая ипостась современного консерватизма. У меня, однако, остался вопрос: в чем именно заключена специфика политической формулы консерватизма в XXI в? Мне представляется, что доклад отнюдь не исчерпал данную тему. В нем я услышал два тезиса: гегемония общества над личностью и гегемония национального государства. Между тем, в докладе основной конфликт, породивший консерватизм как идейное течение, т. е. конфликт между сословным и гражданским обществом или, говоря шире, между обществом аграрным и городским, расщепляется толкованием, с одной стороны, в пользу ценностей аграрного строя, а с другой — одновременно и в защиту ценностей модерна. Такова вторая позиция доклада — апологетика национализма, являющегося прямым продуктом революции Модернити, т. е. той самой стихии, которой и противостоит консерватизм. В результате, нынешний клон консерватизма сталкивается с колоссальным вызовом XXI века — денационализаций в форме ли глобализации, мультикультурности, новых социальных сообществ и т. п. В итоге этот клон оказывается порождением скорее не традиционного, а так называемого революционного консерватизма прошлого века, защищая те ценности, которые в свое время были достоянием исторической левой, а не правой волны. И в каком-то смысле — наследия ценностей не консервативных, а скорее либеральных в политическом отношении, хотя бы потому, что сама концепция национального государства связана с тем прочтением современности, которое в свое время дала либеральная мысль.

Мне кажется, данные парадоксы имеют решения, вскрывающие оригинальный характер политического консерватиз-

ма в XXI в. Но могли бы Вы, Михаил Витальевич, сформулировать свою версию политической формулы консерватизма в нынешнем столетии?

Ответ:

Спасибо, это очень важные вопросы, которые остались незатронутыми.

Все-таки речь шла не о гегемонии общества над личностью, а о первенстве общества над личностью. Это очень важно. Первенство означает, что мы личность понимаем, исходя из общества, что мы отвергаем асоциальное представление о человеческой природе, представление, которое в основном исповедует либерализм. Сама концепция неотъемлемых прав как дообщественных прав, как прав, не связанных с общественным признанием, по сути, является социологическим нонсенсом. Консервативная антропология полностью отвергает это представление. Ее часто сводят к мизантропии, к убеждению, что люди по природе злы, поэтому нуждаются в дисциплине социальных институтов. Ничего подобного. Речь не об этом. Речь о том, что дисциплина социальных институтов — это и есть способ быть людьми. Это не приоритет личности над обществом, это понимание личности как проекции общества. Личность тем более значительна, чем больше она является такой проекцией. Это первое.

Теперь о политической формуле современного консерватизма и соотношении с национализмом.

Прежде всего, представление о национальном государстве как преимущественно либеральном изобретении кажется мне абсолютно неверным. Курт Хюбнер, один из мастодонтов современной консервативной мысли, вполне справедливо говорит о том, что современное государство — это не только Просвещение, но и политический романтизм. Немецкие романтики, историческая школа стоят у истоков этого явления. С либеральной точки зрения, национальное государство — это вынужденный компромисс между уни-

версальными принципами политического порядка и историческими случайностями его локализации. С точки зрения, положим, Адама Мюллера, который считается эталонным для политического романтизма публицистом, это, напротив, выражение высшего принципа легитимности.

Безусловно, далеко не всякий консерватор с этим согласится. Реакционный консерватизм, подмораживающий феодально-сословные порядки, а не реинтерпретирующий их применительно к новым условиям, несовместим с национализмом. Но смысл моего выступления сводился к тому, что реакционно-охранительный консерватизм не является единственно возможным.

Что касается актуальной ситуации консерватизма. Вы абсолютно правы в том, что в моем изложении был некоторый разрыв, когда я перешел от описания базовой миссии консерватизма, философии его контрнаступления на современность к описанию современной ситуации консерватизма. О ней было сказано гораздо меньше.

Применительно к сегодняшнему дню я бы предложил говорить о таком феномене, как консерватизм второй волны. Консерватизм первой волны — это попытка реактуализировать ценности аграрно-сословного общества в городском, массовом обществе. Консерватизм второй волны — попытка сохранить и воспроизвести те институты, которые в рамках этой попытки были созданы. Это попытка отстоять свои завоевания в современности. Например, массовое образование на базе национальной культуры. Это реконструкция самой национальной культуры как матрицы для воспроизводства современного человека.

Национальные системы массового образования — это успешная попытка разрешить одну из базовых дилемм современности: как можно обеспечить предустановленную гармонию между автономными индивидуумами? То есть как можно сложить социальный порядок из «свободных людей»? На самом деле дилемма решается очень просто. Эти автономные

индивиды выпущены на одной фабрике — фабрике массового образования, поэтому между ними существует предустановленная гармония. Эта фабрика массового образования была создана при решающем участии консервативных сил, потому что если печатный станок, школа массового доступа — явления сугубо современные, то культурные содержания и шаблоны, которые штампуются с помощью этих социальных машин, в основном взяты из наследуемой культуры. Это уникальное достижение — возможность использовать аристократическую высокую культуру для воспроизводства человека в массовом обществе.

Пример другого завоевания, к которому может считать себя причастным консерватизм, — ограничение капитала рамками национальной солидарности. Одну из самых разрушительных сил современного мира, способную сломать очень многое в устройстве общества, удалось — не полностью, но в значительной мере — направить в социально приемлемое русло. В этом немалая заслуга левых. Но не меньшую роль, чем гнев пролетариата, сыграла национальная солидарность. То есть та самая реактивация элементов «общины» в «обществе». Я имею в виду — «не меньшую роль» в складывании той системы ограничений и самоограничений капитала, которые предохраняли современное общество от саморазрушения.

Видимо, мой взгляд так устроен, что большую часть этих институтов, которые позволили предотвратить крушение современности, я связываю с национальным государством. В этом плане мой выбор является одной из опций в консервативной позиции. Существуют прямо противоположные консервативные позиции, которые связывают возрождение общины в обществе не с нацией, а с какими-то коммунитарными формами, т. е. с малыми организованностями, либо с корпоративизмом, чем грезили в конце XIX — начале XX вв.

Если вывести из сказанного мой ответ о миссии сегодняшнего консерватизма, то он будет примерно следующим.

Миссия консерватизма — это защита современности от саморазрушения, сохранение тех элементов современности, которые обеспечивают ее устойчивость и позволяют воспроизводить человека и общество на базе унаследованной культуры. Этому многое угрожает — мультикультурализм, потребительский гедонизм, формы современной массовой культуры. Здесь у консерватизма полно работы.

Вопрос (А.В. Шубин):

У меня два взаимосвязанных вопроса. Один специалист по германскому консерватизму — Владимир Тищенко — как-то меня поправил, когда я назвал Лигачева советским консерватором. Он сказал: «не консерватор, а охранитель», имея в виду, что консерватизм — это все-таки концепция. В Ваших тезисах понятие консерватизма очень близко понятию охранительства. Можем ли мы сказать, что это разные вещи? Если это так, то в чем различия?

Второй вопрос связан с первым. Можем ли мы отнести к множеству консерваторов Маргарет Тэтчер с ее реформами в конце 1970-х — начале 1980-х гг. при том, что она активно разрушала наличные в обществе социальные институты?

Ответ:

Я не считаю, что консерватизм и охранительство — это одно и то же.

Если несколько огрублять, то охранительство становится консерватизмом, постольку, поскольку общее недовольство переменами ему удастся перевести во что-то более серьезное, какую-то идеологическую форму. Для этого необходимо совершить ряд довольно сложных операций, т. е. истолковать структуру общества, в котором мы живем, сказать, что в нем главное, а что второстепенное, что можно сохранять, а что можно менять, с чем связаны вызовы этому обществу? Концепция, которая будет ответом на подобные вопросы, будет уже некоторой формой консерватизма, на мой взгляд. Я не

знаю, была ли у Лигачева эта концепция. Если была, то он — консерватор, который защищал советский строй.

Да, и разумеется, это консерватизм по Хантингтону а не по Мангейму. То есть ситуационный консерватизм — защита сложившихся институтов в тот момент, когда они оказываются под угрозой. Вы зря сближаете его с моим прочтением консерватизма. Я двигался по прямо противоположной (мангеймовской) линии реконструкции консерватизма как более-менее связного мировоззрения, созревающего в полемике с Просвещением и соперничающего с Просвещением за право определять современность. С этим консерватизмом Егор Кузьмич Лигачев, думаю, не имел ничего общего.

Теперь относительно второго вопроса.

Рейган и Тэтчер также можно считать консерваторами в хантингтоновском смысле. Вы можете мне возразить, что они скорее разрушали, а не оберегали сложившиеся институты. Но никогда невозможно охранять все сразу. Они оберегали то, что считали существенным, сущностным для собственного общества, что считали его истоками — частную собственность, дух предпринимательства, буржуазную мораль и т. д. И противостояли тому, что, по их мнению, этим основам угрожало. Отчасти эта попытка была успешной, по крайней мере, более успешной, чем попытка Лигачева. Но, в конечном счете, она имела обратный, очень разрушительный эффект. Я полностью согласен с Джоном Греем, который говорит о том, что консерватизм подорвал себя в англо-саксонском мире именно потому, что сделал ставку на рыночный фундаментализм.

То есть я могу признать их позицию разрушительной и даже саморазрушительной, но я не могу отрицать того, что они соответствуют одному из общепринятых понятий консерватизма.

Другое дело, что у нас многие считают их эталонными консерваторами. Но проекция их позиции на Россию является заведомым нонсенсом. Применительно к постсоветской

России та рыночная идеология, которую они защищают, является не органическим мировоззрением, вплетенным в традицию и социальную ткань, а революционно-утопическим мировоззрением.

Вопрос (А.Н. Окара):

Словосочетания «либеральный консерватизм», «охранительный консерватизм», «консервативная революция», «социальный консерватизм» — это все разновидности, смеси чего-то? Где золотое сечение? Где эталон консерватизма? В ком и в чем он проявляется? Это первый вопрос. А второй вопрос касается консерватизма и модерна. Когда Вы говорите о противопоставлении консерватизма и Просвещения — понятно. С этой точки зрения, в этой системе координат, в которой Вы оперируете, модерн — это продолжение или синоним Просвещения, или это консерватизм?

Ответ:

Модерн — это общая для консерватизма и Просвещения историческая арена. Борьба консерватизма и Просвещения — внутренняя повестка эпохи модерна. Поэтому противопоставлять консерватизм модерну мне кажется некорректным, как и отождествлять модерн с Просвещением. Просвещение не равно модерну. Просвещение — это ложное самосознание эпохи модерна.

По поводу первого вопроса: в принципе консерватизмов так много, и так много людей обоснованно или нет называют себя консерваторами, что трудно выделить единственно правильный эталон. Именно поэтому я и предложил точку отсчета в виде кризиса социальной космологии средневековой Европы. От этого вызова начинается расхождение множества линий, которые по-разному на этот вызов отвечают.

По поводу младоконсерватизма. В Германии начала 1920-х гг. младоконсерватизм имеет больше оснований для

того, чтобы мы его обсуждали. Этот консерватизм активизирует ницшеанские мотивы критики современных идей, т. е. Просвещения. Консервативная революция — это консерватизм, который востребует ресурсы ницшеанской философии в своем противостоянии Просвещению и его наследникам.

Что касается консервативной волны в современной российской публицистике, то специфика ситуации, на мой взгляд, состоит в следующем. Очень коротко: вопрос, обращенный к каждому консерватору, которого мы хотим понять, состоит не в том, что мы стремимся сохранить (часто сохранять уже бывает поздно), а «что мы потеряли»? Мы потеряли старый порядок — порядок советского общества. Вместе с ним оказался потерянным и социальный порядок как таковой — был обнулен огромный социальный и человеческий капитал. Это произошло в результате своего рода войны, в которой были свои победители и свои проигравшие. Русский консерватизм нулевых годов возник по итогам этой войны, точнее, по итогам осознания ее последствий, как проект деконструкции победителей. Именно поэтому он сфокусировал основное направление атаки на либерал-глобализме.

Вопрос (В.Э. Багдасарян):

Первый вопрос: почему правящая на сегодня в России партия все-таки объявила себя консервативной? Чем именно консерватизм как маркер привлек эту партию? Как Вы считаете, является ли она консервативной?

Второй вопрос касается Вашего тезиса, что Рейган является представителем республиканской партии, считающейся консервативной; Тэтчер является представителем консервативной партии, но создают они либеральную модель, т. е. модель, принадлежащую к иной идеологии. Либерально-демократическая партия Японии традиционно считается партией консервативной. Почему такие противоречия именно с термином «консерватизм»?

Ответ:

Я думаю, что консерватизм — это одна из идеологий, которая в наибольшей степени пренебрегала систематическим мышлением и систематическим самоизложением. В этом одна из признанных больших проблем. Этот дефицит, впрочем, был многими восполнен. Но исходная проблема в этом.

Разбираться с последствиями этого неразумного словопотребления сейчас я не могу.

Теперь по поводу консерватизма «Единой России». Есть такая вещь, которая называется «бюрократический консерватизм». В принципе его можно считать не столько идеологией, сколько определенной формой социального сознания. Мангейм хорошо пишет, что бюрократ не способен поставить под вопрос структуру мира, структуру правового поля, в которых он действует. Поэтому он отождествляет данный конкретный позитивный порядок с порядком как таковым. Это типичный маркер бюрократического консерватизма. Для того чтобы это самоощущение бюрократа было переведено в плоскость идеологии, нужно снова осуществить ту операцию, о которой я говорил с А.В. Шубиным. Нужно отразить, что в существующем порядке является системообразующим, а что периферийным, что является базовым ценностным содержанием, а что инструментально. Идеологи «Единой России» и в целом охранительные идеологи режима этой рефлексии не произвели. Именно по этой причине они не могут называться идеологическими консерваторами, но могут называться консерваторами социально-бытовыми.

Вопрос (С.С. Сулакшин):

В рамках нашего семинара планируется рассмотреть социализм, коммунизм, либерализм, неолиберализм, консерватизм и традиционализм. Существует ли этот ряд? Каково смысловое ядро рядоположения? Имеют ли традиционализм и консерватизм право быть в этом ряду?

И второй вопрос. Я совершенно искренне говорю, что я благодарен докладчику за творческую встряску, в результате которой я совершенно перестал понимать, что же такое консерватизм? Хочу понять, что есть консерватизм и традиционализм? 90% доклада посвящено исключительно консерватизму, а традиционализм как бы выпал. Консерватизм — это психологическая мотивация на уровне личности? Или это идеология на основе ценностной платформы? Инвариантно ли это ценностной платформе истории? Это теория или часть какой-то теории социального развития? Или же это просто ситуативная позиция, которая есть объяснительная модель перехода от аграрности к урбанизму?

Ответ:

Единый классифицирующий признак для этого идеологического ряда (консерватизм, либерализм, социализм) выделить вряд ли возможно. Но если отталкиваться от той общей для них ситуации, о которой я говорил, — ситуации кризиса средневековой «социальной космологии», — то каждая из них представляет собой определенную реакцию на этот кризис. Прежде всего, каждая из них предлагает какие-то новые основания для легитимации власти.

Например, Макиавелли одним из первых в европейской мысли увязывает идею власти с идеей Родины. Любая, даже самая жестокая и циничная власть, будет оправдана в том и только в том случае, если будет способствовать единству Италии. Это глубоко чуждая средневековому феодализму мысль, за которой стоит принципиально новый образ государства. И это консервативная линия мышления, поскольку она идет от мифологизированных культурных оснований общества, от корней.

Примерно в это же время Томас Мор находит совсем другое обоснование власти: не политическое воплощение Родины, а воплощение социальной утопии. Утопии равенства, утопии счастья, утопии свободного труда. Это близко к левой идее. Локк формулирует третью идею — либеральную

идею власти как общественного договора, в центре которой интересы частных собственников и их разумный эгоизм.

Можно, наверное, сослаться на анархистских идеологов, которые вообще откажут власти и государству в какой-либо новой легитимации и скажут, что никаких иных оснований, кроме физического, психологического насилия и утративших силу предрассудков за этим не стоит. И это тоже будет одна из стратегий, один из ответов на исходный вопрос.

Но в качестве исходного вопроса можно выбрать и что-нибудь другое. Допустим, не легитимность власти, а концепцию человеческой природы. И линии демаркации будут несколько иными. Свести все эти вопросы и ответы к какому-то одному базовому признаку я бы не взялся.

Теперь о выпадении традиционализма. Прежде всего, многообразие самого понятия «консерватизм» так велико, что говорить еще и о традиционализме значило бы сильно перегрузить ситуацию. Разумеется, когда я сказал, что оставляю традиционализм за рамками рассмотрения, поскольку считаю его несоразмерным, нерелевантным тому вызову, который представляет собой современность, я исходил из какого-то понятия традиционализма. Точнее, из двух понятий.

Первое — психологически-бытовое понятие традиционализма как дискомфорта от перемен, «механической реакции на раздражители», как говорит Мангейм.

Второе — понятие интегрального традиционализма как своеобразного философского или псевдофилософского направления, которое говорит от имени «интегральной традиции». Но это, если быть кратким, не политическая идеология, а что-то типа мета-религии. «Мета» — потому что она осуществляет экстракт из различных религиозных традиций, будучи сама лишена присущей им силы. Это очень интересный культурологический опыт, но его, совершенно точно, не стоит рассматривать вкупе с идеологическим опытом консерватизма. На мой взгляд, это явления скорее антагонистические, чем родственные.

Вопрос (В.М. Межуев):

Можно ли рассматривать Реформацию как консервативную реакцию на Возрождение?

Ответ:

Вы имеете в виду религиозную Реформацию? Мне кажется, это хорошая мысль. Хотя для меня важнее, что и то, и другое — симптомы кризиса картины мира христианского Средневековья.

В.М. Межуев:

Реформацию ведь нельзя рассматривать просто как отступление назад. Меня в Вашей постановке вопроса смутило только одно: Вы вопросы консерватизма рассматриваете только по отношению к Просвещению. Мне кажется, это не вся европейская история.

М.В. Ремизов:

Понятно. Действительно, это не вся европейская история. Но это та ее часть, которая вызвала к жизни не просто консервативную реакцию, но более-менее полноценный идеологический консерватизм. Может быть, это некое клише, но я воспринимаю эпоху Просвещения и Французской революции как осевое время политических идеологий, как точку, из которой расходятся различные траектории.

Вы можете возразить, что те концепции власти, общественного порядка, человеческой природы — в общем, те «дискурсы об основаниях», о которых я говорил и которые составляют ядро политических идеологий, формировались раньше. Но именно в этот период они напрямую соединились с политической борьбой, превратились в политические разделительные линии. Что и характеризует, наверное, идеологическую эпоху.

Однако я полностью согласен с тем, что не стоит ограничивать рассмотрение консерватизма рамками этой довольно короткой по историческим меркам эпохи. Сама идеологиче-

ская борьба — во многом секуляризация конфликтов, которые до этого существовали в теологии. Если посмотреть на христианство, то разве в нем мы не увидим борьбу консервативных и антиконсервативных тенденций? Само появление христианства было серьезным вызовом культуре и обществу, вторжением трансцендентного, которое взорвало социум. В течение очень долгого времени консервативные силы той достаточно развитой цивилизации, которую взорвало христианство, сражались с этим вызовом. Результатом сражения стала институализированная религия.

Институализированные религии — католицизм и православие — точно так же плод борьбы консервативных и антиконсервативных (утопических — в том смысле слова «утопия», который я приводил в докладе) элементов, каковым является и общество модерна.

О чем-то подобном говорил не вполне обычный для Франции консерватор Шарль Моррас. Он воспринимал католицизм как ответ романской культуры на вызов христианства. Можно сказать — ответ язычества, поскольку на тот момент (а возможно, и в принципе) «культура» и «язычество» были разными названиями для одного и того же. И действительно, институализированная церковная структура сумела этот вызов включить в регламент социальности, включить в континуитет традиций, сумела обуздать Священное Писание священным преданием.

Думаю, это хороший пример того, как работает консерватизм в истории. И, наверное, это повод говорить о доидеологическом консерватизме, о консерватизме как некоей сквозной мировоззренческой установке. Но это уже явно выходило бы за наш регламент.

Вопрос (В.И. Пантин):

Не кажется ли Вам, что позиция Хантингтона далеко неслучайна, что следует говорить и отличать именно американский консерватизм от всех других консерватизмов, даже

не англо-саксонский, а именно американский? Изначально можно говорить о либерально-консервативном революционализме и мессианстве, которые присущи США с момента их образования. Это революционный мессианизм. Дж. Буш-младший, как известно, объявил глобальную демократическую революцию. Это лишь один пример. Не кажется ли Вам, что здесь стоит говорить о каком-то гибриде или особой мутации консерватизма?

Ответ:

Полностью с Вами согласен. Я недостаточно компетентен в американской политической традиции, чтобы проанализировать подобную мутацию и отделить зерна протестантского фундаментализма, либеральной идеологии и классического европейского консерватизма. В принципе, это принятое среди исследователей мнение, что континентальный европейский и американский консерватизм следует рассматривать как отдельные явления. Мне кажется, что сейчас нет смысла говорить об этом подробнее. Из американцев я упоминал только Хантингтона. Но это потому, что он говорил не об американском консерватизме, а о консерватизме как таковом.

Вопрос (В.Г. Буданов):

Вы говорите о консервативных основаниях конфуцианства. Но есть некое функциональное основание, когда прагматизм детализации жизни, собственно, оправдывает — даже не говоря о существовании реального божественного мира, этих языческих сакральных пространств, т. е. ты принадлежишь социуму, тем самым ты вписан в него и не потеряешь свое лицо. Можно ли таким же образом рассматривать, скажем, концепт Карнеги, который пытается Библию прописать в таком функционалистском, прагматическом подходе?

И еще. Когда речь идет о консерватизме, предполагается ли сохранение или возможность говорить о нем через период или два и т. д.? Можно ли Зюганова называть консерватором?

А можно говорить о монархистах. Таким образом, вопрос: что мы реставрируем? Цивилизационные архетипы имеют особенность повторяться. Всякий раз можно в истории найти соответствующие аналоги и возвести себя на пьедестал. Когда Вы говорите, что нет четкого разделения, всегда ли можно найти четкую позицию, что Вы что-то будете защищать, называясь консерватором? Поясню: это как гомеостаз — удержание ценностей, института, формы. А есть удержание процесса.

Ответ:

Давайте я начну с первого вопроса — о прагматическом обосновании религии. Вы правы, что американский прагматизм, в его религиозной части, жутко глумится над религиозным сознанием, при этом считая, что он его обосновывает. Например, известен «аргумент Джеймса», согласно которому верить в Бога гораздо выгоднее, чем не верить в него. Потому что вы не знаете, существует ли потусторонний мир. Допустим, он существует. Тогда, веря в Бога, вы выигрываете. Но если его не существует, то вы ничего не проигрываете. Несомненно, это профанация самой идеи веры.

Разница этого американского прагматизма и прагматизма Конфуция состоит в том, что первый прагматизм рассматривает религию и вообще священное применительно к потребностям индивида, конкретного человека, а консерватизм «конфуцианского разлива» рассматривает их применительно к стандарту человека как такового. То есть применительно к самой возможности быть человеком, понимая, что эта возможность не может быть обеспечена в обществе без неких инстанций священного. Это понимает и Жиль Делез, когда спрашивает: где человек мог бы найти гаранта своей идентичности в отсутствие Бога?

Если говорить о Вашей идее, что сохранять можно все, что угодно, включая не только состояния, но и процессы, то консерватизм, я думаю, не столько сохраняет, сколько возобновляет. Возобновляет то, что он считает истоками обще-

ства, без которых жизнь данного конкретного общества иссякнет. Одним из таких истоков являются цивилизационно обусловленные представления о том, что значит быть человеком, каков наш способ быть человеком. То есть консерватизм существует прежде всего по отношению к человеческой природе, как понимает ее наша цивилизация.

Вопрос (Д.С. Чернавский):

Сейчас известны следующие технологии управления: либеральная, демократическая и авторитарная, более жесткая, государственная. Есть корреляция — при либеральном управлении власть преимущественно принадлежит финансистам, т. е. крупным финансовым олигархам. При государственном управлении — принадлежит государству со всеми его достоинствами и недостатками. Теперь вопрос: консерватизму, в Вашем понимании, что более адекватно — либеральная технология управления или государственная? Если я правильно понял, то ответ будет — все-таки авторитарная. Тогда почему об этом не сказать прямо и четко?

Ответ:

Я думаю, что один из лейтмотивов консерватизма — сопротивление всевластию денег. Это можно объяснить не только моими личными симпатиями или антипатиями, это вопрос исходной позиции консерватизма. Консерватизм видит общество как сеть взаимных, в существенной части нерасторжимых обязательств. А для денег нет нерасторжимых обязательств. Консерватизм стремится к связности, а деньги стремятся от нее уйти. Государство — одна из форм связывания денег. Но вместе с тем, это одна из исторических сил, которые расчищали арену капиталу (т. е. уничтожали сковывающие его социальные формы). И, вероятно, государства будут выполнять эту роль и в дальнейшем. В том числе, самые что ни на есть авторитарные государства. Поэтому я не уверен, что здесь возможен однозначный и априорный выбор.

Вопрос (В.Н. Лексин):

Вы рассматриваете консерватизм как реакцию на современность. Считаете ли Вы, что консерватизм всегда вторичен?

Второй вопрос касается того, что Вы отказываете традиционализму в превращении его в политическую волю. Динамичный и энергичный сионизм, который создал Израиль — это консерватизм, традиционализм или это некая иная форма?

Ответ:

Моя мысль состояла в том, что *все* современные идеологии являются реакцией на современность, а не только консерватизм. А консерватизм является еще и реакцией на реакции, т. е. реакцией вдвойне, что дает ему такое преимущество, как возможность отрефлексировать опыт чужих ошибок.

По поводу сионизма: это интересный пример, который вообще с трудом укладывается в классификационную сетку европейских идеологий. Наверное, этот проект можно назвать и традиционалистским тоже, но не в том смысле, что я оговаривал выше.

Возможно, связь с идеологическим, интеллектуальным консерватизмом здесь примерно такая же, как у фашизма. То есть местами довольно сильная, но с большим количеством индивидуальных исторических черт и специфических «находок».

Но базовый ход мысли, которым был движим этот проект, является глубоко консервативным. Это идея о том, что правильный порядок может быть установлен только на правильном месте; что государство связано с судьбой, и судьба имеет пространство своего раскрытия. Это радикально антиутопическая идея — опять же, в том смысле слова «утопия», который был дан Шмиттом.

Вопрос (Б.В. Межуев):

По логике вещей получается, что консервативной и антиконсервативной может быть любая идеология, в том смысле,

что есть консервативные стороны любой идеологии. Получается, что консерватизм — не отдельная идеология, а определенная характеристика, составная часть фактически любого идеологического комплекса.

Второй момент. Вы сказали, что фактически консерватизм есть некоторый примат социальных практик над личностью. Существует ли у личности возможность оценивать качество этих практик? Есть ли трансцендентный источник критики Ваших дисциплинарных практик? Если есть, то в какой степени это соответствует идеологии консерватизма? Если нет, то не получится ли так, что практика людоедов тоже есть та самая практика, которая соответствует определенному типу личности?

Ответ:

Я не согласен с тем, что из моего изложения вытекает понимание консерватизма как всего лишь полюса в рамках любой идеологии. Я говорил о консервативном и антиконсервативном полюсе в христианстве и модерне. Но христианство — не идеология. Это некая историческая система. Модерн — не идеология. Это целая эпоха идеологий.

Есть ли трансцендентные нормы, по которым можно судить общество за то, что оно делает с человеком? Для консерватора это вопрос с подвохом, потому что, как точно говорит Дэвид Блур, если либералы ищут нормы, по которым можно судить общество, то консерваторы ищут нормы, которые вырастают из самого общества. Действительно, с консервативной точки зрения вряд ли уместно говорить о трансцендентных обществу нормах. Но это не значит, что с консервативной точки зрения нельзя судить людоедов.

Вопрос, совершенно аналогичный Вашему, задает сторонник «естественного права» Лео Штраус сторонникам историзма, типа меня. Он утверждает, что если историзм видит нормы лишь в контексте конкретных эпох и цивилизаций, то он не может судить об их качестве и тем самым лишает себя

моральной и политической силы. По-моему, он и о людоедах там тоже говорит. Но этот аргумент может привести в смятение лишь недостаточно радикальных историков.

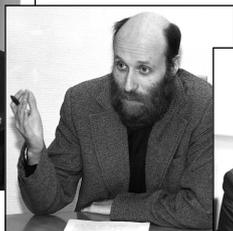
Радикальный историзм исходит из того, что никакой «нейтральной» идеи человека не существует. То есть в нашем распоряжении нет другого способа быть человеком, кроме того, что нам дан нашим культурно-религиозным канонам. У нас есть наш способ быть человеком, который мы считаем единственно правильным; с высоты этого, данного нам христианством способа быть человеком, мы можем судить все то, что с ним несовместимо и что его оскорбляет. В том числе, судить людоедов. В том числе, судить огнем и мечом, как это делали в эпоху колониализма.

«Огнем и мечом», конечно, необязательно. Важен сам принцип. Если мы преодолели универсализм всерьез, то мы должны не утонуть в релятивизме, а, напротив, настаивать на своем способе быть человеком, который нам дан нашей религией и культурой. Это мужество настаивать на чем-то не универсальном — одно из важных для консерватора свойств.

В дискуссии выступили:



Чернавский Д.С.



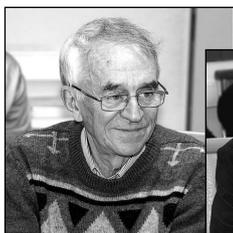
Шубин А.В.



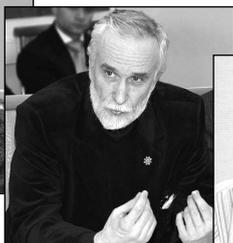
Багдасарян В.Э.



Межуев В.М.



Лексин В.Н.



Буданов В.Г.



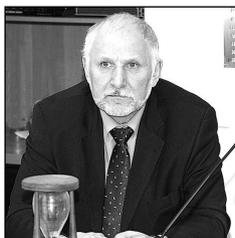
Окара А.Н.



Федотова В.Г.



Римский В.Л.



Сулакшин С.С.



Неклесса А.И.